

1

Он был ростом в пять футов и один дюйм, если измерять в уличной обуви, фигурой и всем обликом напоминал лампочку; круглым лицом с отвисшим подбородком походил на медведя, массивный в плечах и груди, почти так же широк ниже, но неожиданно узок в бедрах, оттого не сразу мог найти, где лучше присесть в случае нужды (к сидению без дела не был привычен), щиколотки же уже тонюсенькие, а стопы вовсе крошечные, как у девочки. Кожа отливала зеленцой, локти и тыльная сторона коленей — в бляшках псориаза, щеки же гладко выбриты, без порезов, шрамов и похожих дефектов. Он был до сумасшествия предан делу, не держал обиду на этот нечестивый мир, был даже благодарен ему. Был он пекарь, из чьих рук выходил хлеб с семечками и без, скромные торты, замороженные лакомства в сезон; он обеспечивал ими всех в округе и случайных прохожих. Этот внимательный читатель вечерней газеты, наделенный множеством достоинств. Ныне — гордый житель Огайо, он появился на свет в День святой Люсии, в 1895-м. Теперь он уже запретил себе курить с восьми утра до двух часов пополудни и заменил сигареты на карамельки. Роскошная грива волос цвета воронова крыла, брови — густые и широкие, глаза — голубые, до того светлые, что казались пустыми, глубоко посаженные; под глазами, как грозовые тучи, набрякли мешки — результат длительного отравления свинцом. За всю свою жизнь он не выступал перед аудиторией больше чем из двух человек. Когда хотел, умел смотреть сквозь собеседника — так делают старые

коты, что страдают в обществе и стремятся к уединению. Кондитер и хлебопек в Элефант-Парке, бизнесмен, не очень-то амбициозный. Ему повезло: он смог найти свое место в жизни и с тех пор уж не тревожился ни о чем. Мягкосердечен он был до такой степени, что даже не брал в руки розги, чтобы поучить своих мальчиков, выпивал, но умеренно, и ежевечерне молился о спасении души сыновей и жены; курильщик, которого несмотря на это ни одна простуда не брала; на погоду не обращал никакого внимания; человек, верный своему пути, со всем всегда согласный и милосердный; ничем не примечательный христианин.

Пятнадцатичасовой рабочий день был поделен им на три части: шесть в кухне, в одиночестве; шесть у кассы за прилавком, медленно текущие часы, когда болтливые покупатели опустошали его, выжимая все соки; и вновь в задние комнаты, к одиночеству, если его не нарушит один из мальчиков. Он был отцом трех сыновей.

Не старший и не младший приходили в тихий переулочек, где располагалась пекарня, не они толкали заднюю дверь, и она распахивалась, словно по волшебству — крибле-крабле-бумс, — давая возможность пробраться внутрь и провести время после школы, наблюдая за работой отца. Это был средний, не имевший друзей, с которыми можно болтаться по улицам, как делали братья. Миммо приходил посидеть с отцом; немногословный мальчик, высокомерный, вокруг которого витал легкий запах мочи, с высоты табуретки наблюдал за миром, проникая в вещи материальные и призрачные, вместо того чтобы гонять в футбол и воровать уголь у железнодорожной станции, ловко — алле-гоп — распахивал дверь (без ручки, с давно сломанным замком и палкой, пристроенной в правом углу, которой дверь можно было раскатать) и разделял с отцом тяготы самых жарких дневных часов в жизни пекарни, когда печи медленно прогреваются

к ночи, а стеклянные двери, впускающие и выпускающие посетителей, заперты и зашторены. Если откровенно, то пекарь был бы рад видеть старшего или младшего, которые унаследовали от матери угодливість, умение завести приятный разговор, спеть высоким, зычным голосом патриотическую песню, не говоря уже о тщательности в уборке.

Несмотря на бережливость и тяжелый труд, за все годы детства мальчиков ему так и не удалось накопить достаточно денег, чтобы обеспечить каждому отдельную комнату или спальное место — у них была одна на всех подъемная кровать в гостиной; если уж совсем начистоту, то он все решал сам: купить для воскресного обеда мясо или птицу; или лучше что-то красивое, чтобы оживить стены в гостиной, или пришить воланы к занавескам; добавить что-нибудь новенькое на фасад пекарни или выдать жалованье помощнику. Мальчики ходили в школу. Их мать крутила поддельные кубинские сигары на кухонном столе.

Ростовщик Д'Агостино, владевший магазином подержанных вещей, его постоянный покупатель, как-то заметил, что он потому и остается бедным, что из чистого суеверия отказывается тратить вперед, в счет заработанного в будущем. «Ты не позволяешь себе даже нанять какую-нибудь девку лупить по кнопкам кассового аппарата или лущить миндаль, вот как получается» — так он сказал.

И да, так и получалось. Но это помогало пекарю четко осознавать свои возможности. Он действительно не мог себе позволить нанять даже девку лущить миндаль. Он понимал, что Америка стала великой страной, дав людям возможность делать деньги даже на самих деньгах, хотя, по его мнению, практика эта была в высшей степени порочна. Тот, кто отдавал деньги ростовщику, ведь зарабатывал их в поте лица своего. Потому ни в одном банке

не был открыт счет на его имя, ибо откуда берутся проценты на счету? От предоставления денег в рост! В остальном он испытывал к новоизбранной стране нежность, которую тщательно скрывал — так девушки-подростки ни за что не признаются, что любят своего папашу.

Да и простые мечты его не были связаны с тем, что можно купить за деньги. Он вполне осознавал их, одну, по крайней мере, особенно ясно, даже мог выразить словами, но никогда не произнес бы вслух — не для чужих это ушей. Он был обыкновенным человеком, невыдающимся; покупатели, даже дети, никогда не обращались к нему по фамилии, а называли просто Рокко, как слугу или родственника.

Он был чрезвычайно подвержен страхам.

Страхи выскакивали из каждой тени и били прямо в лицо в самые неожиданные моменты сладостного одиночества, в первые утренние часы, когда он брел по извилистым улочкам, где на балконах доходных домов в желтоватых клубах угольного смога развевалось мокрое белье и похрапывали дети, загнанные туда, словно в клетку, на жаркие летние месяцы. Или позже, в четыре часа утра, когда он заполнял расстоечный шкаф ста восьмьюдесятью продолговатыми буханками, которые предстояло продать сегодня, и белоснежное тесто медленно поднималось, а он чувствовал себя великаном среди невинных младенцев; к тому моменту, когда приходило время растапливать печь, бросая туда куски угля, страх уже успевал проникнуть в самое нутро, сковать по рукам и ногам. В такие моменты что он мог сделать, чтобы защитить себя, кроме как назвать по имени свои страхи, надеясь тем самым лишить их силы. Потому он бормотал под нос библейское пророчество — ему никогда бы не удалось так точно выразить нужную мысль, а оно к тому же напоминало, какова его роль в этом огромном мире и каковы будут последствия, если он не справится с ней.

Впервые он услышал эти строки из Библии на службе во время крещения младшего. Священник произнес их на латыни, и он ничего не понял; затем по-итальянски, и он тоже не прислушивался; но звуки английского сделали свое ужасное дело: *«Вот, Я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я пришел и не поразил земли проклятием».*

Он был отцом трех сыновей. Любил их так, как требовал Господь. Их мать, Луиджина (но для него — навсегда миссис Лавипентс), также была любима им, но имела значение второстепенное. Бог благословил его мальчиками, а она была сосудом, через который они пришли в мир.

Они были мальчиками, души их еще только развивались, а привычки поражали. Старший сделал открытие: научился есть арбуз с солью; а средний и младший, нимало не смутившись, переняли привычку, подражая ему, морщились и гримасничали, плевались семечками, как дикари, в бездомных собак. Они убегали из дома, но все же возвращались. Их порывы были невинны. Они перенимали нравы окружающих, выпитывали все, как губка. С этим он мог бы их поздравить: они были американцами, в конце концов, ощущали азарт там, где нации постарее испытывали страх, а вокруг толпились миллионы таких же желающих быть избранными, и его нетерпеливые мальчики, находящиеся в состоянии вечного становления, вертели головами, высматривая то единственное направление, в котором стоит идти. Он же сам давно завершил процесс становления, потому сталкивался с меньшим количеством неизвестного, но оно было более кучно расположено, отчего больше пугало, — час собственной смерти, крепость его веры в Господа. Он непременно поздравил бы их, будь в нем уверенность, что становление их в итоге состоится и они заполучат

и испытают все преимущества такого склада характера: легкость поведения, прямоту взгляда и речи, обретенную свободу от желания казаться кем-то другим и умение молиться, не прося ничего для себя. У его отца было одно слово, которым можно было обозначить это все разом, и в нем заключалась надежда Рокко, которая ни в коем случае не предназначалась для чужих ушей, да и не стоило унижать саму суть объяснениями. Именно этого он хотел для своих мальчиков, которых любил как самого себя, — надеялся, что его мальчики, став мужчинами, *закалятся*. Сразу представлялся кирпич в печи. Этого достиг его отец, дед же владел в еще большей мере, не отставал и он, чему были доказательством мешки под глазами цвета грозового неба. «Держись подальше от людей, которые в разговоре с тобой будут касаться лица, — говорил ему отец. — Руки нужны не для этого».

Взять вот его мальчиков. Он не понимал, почему они должны все время улыбаться! В школе им велели, пожилая руку незнакомцу, улыбаться так широко, чтобы видны были зубы, словно они лошади на осмотре при торговле. Но они ведь не лошади! Они примерные христиане, но все же смеялись над тем, что было совсем не весело, поскольку, помимо всего прочего, не хотели показаться мрачными, а желали нравиться; от этого у Рокко закипала кровь, его мальчики поступали так, будто выставляли себя на продажу. А ведь они бесценны в его глазах и глазах Господа.

Три мальчика — раз, два, три, — он, их отец, и еще Лавипентс.

У одного из его кузенов была кузина, которую он хотел познакомить с Рокко, Лавипентс — хотя ему еще только предстояло дать ей это имя, они встретились и поженились. Ну, это если в двух словах. Жил он в городе Омаха в штате Небраска, куда отправился после того, как

перебрался в Штаты и нашел работу — загонять и выгонять прибывший скот из вагонов.

У Вудро Вильсона тогда только случился удар, Рокко очень переживал за Эдит — молодую невесту, решившую изменить жизнь вдовствующего Вильсона. Кроме того, в мире свирепствовала испанка, а ведь Рокко трудился на железнодорожной станции, куда прибывали поезда из разных дальних регионов, товар везли с востока, юга и запада. Дыхание страха в лицо было жарким, будто стоишь у топки паровоза или Господь дыхнул сверху, говоря при этом: «*Закаляйся*». И тогда он сказал Лавипентс, отношения с которой ограничивались свиданиями в пустом товарном вагоне:

— Думаю, нам надо пожениться.

— Договорились, — ответила она.

И так как он опозорил ее, соблазнив до свадьбы, то приданое не получил, что не было несправедливо.

Лавипентс Луиджина вонзила копьё в сердце Рокко, находящегося на пути становления, и на ее глазах он совершил последний рывок. Когда он *закалился*, отец Рокко пророчески заметил, что теперь распушенность будет казаться сыну постыдной — впрочем, такой она и была. И Рокко перестал таскаться по салунам, мочиться из окон, еженедельно писать домой матушке в Катанию, а потом покинул и саму Небраску, купив два билета на поезд, идущий на восток, и два новых комплекта нижнего белья. От прошлой жизни Рокко на пути становления у него осталась лишь Лавипентс, которая тоже на удивление *закалилась*. Это имя она сама придумала себе, когда они встречались в пустых вагонах, и предпочитала его Луиджине, хотя теперь оно все меньше подходило ей. Но слова живучее людей; иногда отбросить старое прозвище сложнее, чем убить человека.

Лавипентс и Рокко достигли места назначения и сошли с поезда в декабре 1919-го. Ее волосы спутались,

были все в колтунах. Снежинки ложились на гладкий ворс ее суконного пальто. Железные уголки чемодана царапали лед, когда она волокла его по дороге, крепко сжимая кожаную ручку, остальные вещи лежали в тюке из непромокаемой ткани, перекинутом через плечо. Она, беременная, шла по дороге к новой жизни в Огайо, волоча на себе скарб, и еще пела для мужа.

Четыре с половиной года спустя, по прошествии уже трех лет его работы в учениках у пекаря Модино, старик почувствовал скорую необходимость уйти на покой и предложил Рокко взять в аренду его пекарню, пока не появятся деньги выкупить ее. Где же найти деньги? Он думал целый день, но план, как озарение, сложился в голове неожиданно: его магазин будет работать каждый день. Каждый, без исключения. В Шаббат, будь он неладен, в Рождество и Троицу. Лавипентс была не единственной, кто скептически отнесся к его идее, но он пропустил хор голосов всех потомков Фомы Неверующего мимо ушей.

И так начался его путь, которому он оставался верен много лет подряд, река работы водопадом падала на его с готовностью подставленные плечи.

— *Но только все труды от тела отлетели, пускается мой ум в паломнический путь**, — декламировал зеленоглазый старший, стоя в гостинице на разложенной кровати.

Лавипентс следила по учебнику и временами подсказывала. Как Рокко ни боролся с собой, в глазах у него все расплывалось, он растягивался на ковре, младший — кожа да кости, он ни в какую не ел хлеб, выпеченный отцом, — забирался под полу халата Рокко, а средний, скрестив ноги, как Будда, наблюдал за происходящим

* Уильям Шекспир, «Сонет 27», пер. В. Набокова. *Здесь и далее примечания редактора.*

со своего места в шкафу. Сознание покидало Рокко на четыре ночных часа. Ах, как бы он хотел отречься от сна! Если бы Господь был добр к Рокко, он вернул бы часы, которые он терял на сон в гостиной после обеда, пуская слюни на рукава.

Лавипентс хлопала в ладоши. Скрипели петли шкафа, когда средний закрывал дверцу изнутри. Рокко спал.

А потом начались сложности.

Не успел он окончательно выкупить пекарню после пятидесяти двух месяцев аренды, как начал прогорать. Паника тогда охватывала всех. Свобода предпринимательства оказалась полной чушью. Вот пример: ребенку ежедневно нужно молоко, чтобы кости его были крепкими, но у его отца нет денег купить молоко; в то же время знакомый отца, фермер-швед в Саутсайде, каждый день сливает пятьдесят галлонов невостребованного цельного коровьего молока в кормушку своим свиньям. Есть и предложение, и спрос, нет только денег. При том, что деньги, по сути, не существуют; если только в теории; и причиной стольких потерь стало отсутствие того, что не существует.

Еще пример. У буханки, которую Рокко перекладывает с садника на решетку для охлаждения, великолепный пористый мякиш с дырочками разных размеров и форм, тонкая корочка легко ломается одним куском. К моменту открытия лавки хлеб как раз остынет до комнатной температуры и приобретет наилучший вкус и текстуру. Но часть появившихся покупателей предпочтет этому произведению искусства те жалкие остатки вчерашней партии, которые он продает за полцены. Сегодняшний будет продаваться завтра. Благослови нас Господь.

У него не было долгов, но мальчики не ели досыта, однако со своего пути он не сошел.

Приход Рузвельта принес облегчение многим людям, но почти разорил Рокко. Хлеб раздавали бесплатно всем

готовым стоять в очереди. Надо сказать, он был больше похож на вату. Мыльную пену. Тесто оставляли подходить всего-то на полтора часа (он расспросил одного из горе-хлебопеков, нанятых для его производства), выпекали в теплой газовой печи. Теперь процесс создания хлеба, который Рокко доставал из печи в среду, начинался ночью воскресенья. Только посмотрите на это ноздреватое чудо со слоистой корочкой. Положите в рот и надавите языком. Он спрашивал Господа о том, куда делся людской стыд. Тем временем агенты федерального правительства скупали поросят и свиноматок и сжигали их в голодающей стране, потому что цены на них были недостаточно высоки. Зимой, чтобы сэкономить на угле, Рокко, мальчики и Лавипентс спали рядом с печами в булочной, которые он все топил, чтобы печь хлеб. Младший заболел цингой. Лавипентс в какой-то момент решила, что опять беременна, но, как оказалось, цикл сбился из-за недоедания. А потом пришла открытка от матери Лавипентс. Та овдовела и теперь жила в Нью-Джерси. «Альфред — сводный брат покойного отца — может хлопотать и пристроить тебя на фабрику по производству шоколадных батончиков, на полный рабочий день», — писала она. Так же дядя предлагал Лавипентс выделить угол с кроватью в своем доме, там же, в Нью-Джерси. «Она достаточно велика, — писала мать, — чтобы на ней могли разместиться и двое, даже не валетом, а может, еще и третий поперек в изножье, если этот третий меньше четырех футов ростом».

На том и порешили. Старшего и младшего она взяла с собой, а средний остался с Рокко. Когда дело его станет приносить доход, они воссоединятся.

Миммо, средний, Миммино, стал единоличным владельцем гостиной, ему больше не надо было принимать ванну вместе с кем-то. Когда удавалось раздобыть курицу, обе ножки доставались ему, и его крупные передние зубы

блестели от жира. За год он перерос отца. Он раздевался у каминной решетки, оставаясь в безупречном костюме белоснежной плоти, появившейся из скудного семени Рокко, и Рокко опускал раскладную кровать от стены, набрасывал на мальчика одеяло и тушил свет. Ему не давались ни пекарское дело, ни счет, ни шитье, ни чтение, и он не желал учиться. Утром, через пять часов после того, как Рокко оставлял его, полусонного, в комнате, он являлся в пекарню завтракать. Садился, ел яйцо, ел булочку. Рокко капал немного масла на расческу и проводил ею по непослушным, черным, будто смоль, волосам мальчика.

Миммо постоянно говорил, что к нему приходят бородатые духи и не только ночами. Было видно, как он следит за ними взглядом во время ужина, вслушивается в их разговоры, силясь понять, — они разговаривали не с ним, а друг с другом на неизвестном ему языке. Однажды он сказал, что больше не боится их. Сказал, что они стали старыми и слабыми и что теперь они на его стороне, как ему думается.

Рокко и не знал, что бородатые духи были враждебно настроены к его сыну.

— Надо было мне рассказать. — Он протянул мальчику руку и костяшками пальцев трижды коснулся груди в тех местах, где были пуговицы. — Я бы их прогнал подальше от тебя.

— Но они ведь теперь за меня, — повторил единственный ребенок Рокко, оставшийся с ним.

— А раньше за кого они были?

— За тебя.

Ранним вечером в октябре Миммо скрючился на табурете так, словно вовсе был лишен костей. Старший, и младший, и Лавипентс сбежали шестнадцать месяцев и пять дней назад. На кольцах, удерживающих занавес в дверном проеме между лавкой и кухней, смелый и простой небольшой флаг Огайо раздувался под исходящим

от плиты жаром. По центру флага были вышиты цифры: шестнадцать, пять, двадцать четыре. День, когда Рокко начал свой путь.

Тесто в его руках — на закваске из крупной колонии обычных дрожжей, которую он создал и ежедневно подкармливал и обирал, чтобы сэкономить настоящую закваску, — меняло форму, распластывалось, складывалось, опять распластывалось, взлетало в воздух позади него и падало вновь на рабочий стол, раскатывалось; все это на сумасшедшей скорости (этого дара он лишен не был) снова и снова, пока не становилось плотным, как матрас, и восхитительным на ощупь, и даже в этот поздний час этот процесс не потерял своего очарования для Рокко.

— Ударь его, Миммино, прямо ладонью плашмя, — пробормотал он, приподнимая тесто под немигающим взглядом истаявшего от голода мальчика. — Отшлепай. Смотри, я почти Бог, творю плоть из муки и воды. Смотри, оно весит больше, чем ты. И на ощупь больше похоже на твою задницу, чем твоя задница.

Голос его был ласковым, хриплым, усталым. Низкий бас. Мягкий голос закаленного человека.

— Вдарь ему с разворота, оно не будет возражать, — произнес он и фыркнул, как мальчишка. У Будды сегодня был какой-то тоскливый вид. Поза, в которой он лежал, заставила Рокко усомниться, что он дает ему достаточно сыра.

— Сожми крепко кулак, давай, ударь что есть мочи, — произнес Рокко. — Почувствуй, какое оно шелковистое, теплое, прямо как твоя кожа. Посиди с ним, погладь и поговорить можешь, сунь в него нос, ощути его запах.

И вот тогда мальчик сказал, что ему нет до этого дела, и спросил, не найдется ли в той комнате в Нью-Джерси места на полу, чтобы он смог отправиться туда и жить с матерью. У него только-только появился золотистый пушок над верхней губой.

Рокко посадил его на поезд и долго смотрел вслед.

Ведро протекало. Капли воды падали на ботинки. И все же он не побежал скорее домой, продолжил двигаться в прежнем темпе по той же тропе.

Она не вернулась. Осталась там. Даже когда появились какие-то деньги и он стал отправлять ей открытки со словами: «*Время пришло*», «*Будет стейк на завтрак*», «*Я отведу тебя на танцы*», «*Закрою лавку в воскресенье*», «*Что Бог сочел, того человек да не разлучает*». И мальчики остались с ней. Они время от времени навещали жаждущего встречи отца, потом все реже, а потом и вовсе прекратили эти визиты. Один женился. Другой пошел на курсы водителей такси. Третий — добровольцем воевать с врагами страны на Дальнем Востоке.

Как и все, Рокко старался изо всех сил следовать заповедям и оставаться непоколебимым в вере. На субботней исповеди он признался, что, несмотря на завещанное Священным Писанием, так и не смог обратить сердца детей к Отцу их. В воскресенье стал прерывать работу в шесть тридцать утра, покидал дом, чтобы успеть к причастию, а затем возвращался и открывал лавку в положенное время. Отказываясь от отдыха в положенный день, вспоминал слова Господа, который спросил однажды: «*Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?*»

Он выдержал, не свернул с пути.

Желал он для себя уединения, общества лишь себя одного.

Прошедший день, 14 августа. То время, когда день переходит в вечер. Семнадцать лет без жены. Собачья жара. Дни, когда звезда из Большого Пса восходит вместе с солнцем. Он пытался вздремнуть на разложенной в гостиной кровати прямо в рабочих штанах. Суд Господа в целом милостив и справедлив. Тают вываленные на противень кусочки льда. Что же хоть немного

успокоит сердце, может, джин, которого, увы, в доме не было ни ложечки? Он завернул в тряпку пару кубиков льда и положил на глаза.

Когда постучали в дверь, он решил, что пришло время перекинуться в карточки с Д'Агостино, как всегда по пятницам.

— А, здравствуйте. — Прогнал котенка от двери.

На них были шерстяные костюмы не по сезону, но они не потели, войдя, убрали шляпы под мышки и сделали заявление:

— Согласно условиям недавнего перемирия, все военнопленные войск ООН в Северной Корее, в том числе Миммо, будут освобождены.

Рокко читал новости, спасибо, он в курсе, ждал этого дня.

— Однако Миммо, — сообщили они (и слова их были тяжелы как свинец), — заболел туберкулезом и ко дню обмена пленными скончался. Не дожил буквально неделю. Флот скоро доставит тело в Нью-Джерси — Лавипентс хотела похоронить его там. Министр обороны выражает соболезнования от имени благодарной нации.

На Рокко не было сорочки. Соски его понуро уставились на колени.

Это было сказано так, чтобы не допустить иного взгляда на вещи. Очевидно, их обучали актерскому мастерству и ораторскому искусству. Вступать в дискуссию не было смысла. Они будут придерживаться своей точки зрения. Это их право, потому что в Америке у нас свобода говорить что хочешь.

— Спасибо, до свидания.

Всего мгновение, чтобы решить, как действовать. Склонившись, Рокко налил в кошачью миску рыбьего жира.

Когда он выпрямился, решение было принято.

Он наконец физически переместится в Нью-Джерси к Лавипентс и мальчикам, покается в грехе, что позволил

им жить вдаль от него так много лет, что подверг их праведному гневу Господа. Не будет больше писать, молить трусливо в письмах. Он поедет, увидит их лица не только в воображении, но и состоящие из плоти и крови. И они вернутся в Огайо, чтобы жить с ним.

За сетчатой дверью мелькнула красная головка дятла, и кошка машинально насторожилась, прижавшись к полу. Рокко открыл дверь, она выскользнула наружу.

Внезапно кровь будто загустела от навалившейся усталости. Он добрался до кровати как раз в тот момент, когда колени подогнулись, отказываясь держать тело. Путь, на который он ступил как раз тогда, когда родился средний, — это если память не изменяла Рокко, — кажется, был уже пройден почти до конца. Сон, настоящий сон, соблазнительный, убивающий, свалился на него всем своим удушающим весом.

В середине ночи недалеко от его дома русские сбросили атомную бомбу.

О нет, простите, это лишь взошло солнце. Он не разобрал спросонок. Впервые за 10 685 дней он проснулся, когда уже было светло.

2

И вот война! Снова! Это было началом ядерного апокалипсиса, по крайней мере он так полагал.

Рокко лежал в постели один, изо всех сил стараясь убедить себя сохранять мужество. Поток света развеял его сон, за ним должен последовать звук, который прикончит его. Белизна простыней, и нательного белья на стуле, и его ни в чем не повинных коленей резала глаза. Услышит ли он грохот или барабанные перепонки

сразу лопнут? Он ждал ударной волны, как говорили, невероятной силы, обнаженный мужчина на чистой простыне в ярко освещенной спальне. На этот раз человечество точно будет уничтожено.

Кошка вонзила когти в дверной косяк и потянулась. Он успел заметить, что вдалеке кричит сойка. Он ждал, как лишится слуха, а затем и вовсе распадется на молекулы. Сейчас он находился во много раз описанном промежутке между вспышкой и грохотом. Считал цель их верной — русские сбросили бомбу на сталепрокатные заводы в городе. Если бы большую красную кнопку нажимал Рокко, именно их он бы стер с лица земли первым делом. Он ждал, недолго полюбовался собой, потому что не испытывал страха перед ударом и последующей пустотой. Обернувшись, велел кошечке подойти приласкать папочку, но она отказалась и отказывалась до тех пор, пока вдруг не запрыгнула на кровать, опустилась рядом и лизнула Рокко в подбородок.

— Вот так, — одобрительно сказал он ей.

Ничто в реальности не бывает столь ужасным, каким представляется в воображении.

И знаете ли, никакого взрыва не последовало. Никакой это был не ядерный катаклизм. Старьевщик на улице призывал жителей Вермилион-авеню вынести ненужную бумагу и тряпки. Цокали подковы запряженной в его повозку старой клячи. Цок-цок. Колеса скрипели, переваливаясь с булыжника в песчаную вмятину мостовой.

Рокко справил нужду, принял душ, побрился, сварил кофе и поджарил тосты. Его семейство не видело этот тостер, потому не узнает его, когда вернется, но им будет приятно, что он сохранил мебель, которую они помнят.

Он решил, что отправится в путь вечером, переждав зной августовского дня. Облачившись в лучшую одежду — костюм-тройку угольного цвета в тонкую полоску и до

блеска начищенные броги, — Рокко сунул в нагрудный карман сложенный квадратик туалетной бумаги и вышел.

Волосы зачесаны назад с помощью специального средства, в руках чашка и блюдце — в таком виде он шел к пекарне, уверенный, что там его ждет толпа покупателей. Кипящая толпа, как рисовало ему воображение, негодующая, вопрошающая, отчего Господь обрек их на лишения именно в это ничем не примечательное утро. Лавка Рокко всегда, ну вот всегда, была открыта, потому они редко думали о Рокко, так ведь? Они были уверены, что Рокко будет здесь всегда, с анисовым печеньем к Рождеству, а в феврале с булочками, покрытыми белой глазурью, украшенными сверху красным леденцом, которые должны были напоминать грудь святой Агаты.

Он свернул с Тринадцатой на Одиннадцатую, и, смотрите-ка, дальше по улице, внизу, действительно собралась толпа. Реальность оказалась суровее, чем он был способен вообразить. Ему виделись человек шестьдесят, а набралось их две сотни.

Рокко передумал. Кофе уже почти закончился, внезапно захотелось в туалет, и он решил вернуться домой.

Тело же его, однако, продолжало движение вниз с пригорка к бурлящей толпе. На него никто не обратил внимания, скорее всего, никто не узнал. А он уже скучал по обществу себя одного. Очень хотелось оказаться дома, запереться в туалете, чтобы никто не знал, что он там.

Справа его обогнал мальчишка на роликах. Голова опущена, как у полузащитника, готовящегося к атаке. Ключ от роликовых коньков, который мальчишка повесил себе на шею, во время движения забросило на спину, по которой он теперь и постукивал. Мальчик бормотал что-то неразборчивое, скорость развил впечатляющую и был близок, возможно ненамеренно, к лобовому столкновению с Ленни Томаро.

Рокко через мгновение стал частью собравшихся. Мальчик врезался в спину Ленни и повалился на землю. Ленни несколько раз ткнула его в ребра, будто поучая по-матерински, но окружающие даже не взглянули на них. Рокко был уже в толпе, но никто этого еще не понял. Он не сразу заметил, что напевает песню «Прощай, черный дрозд!». На тротуаре две девочки играли в джекс желтым резиновым мячиком стоя на коленях. Рядом мальчишки-близнецы разложили на бетоне пазл. Из открытых дверей лавок на улицу изливался разноголосый хор радиоприемников. Может, так никто и не узнал бы Рокко в красивой одежде без россыпи муки на усах и бумажного колпака на голове. Он слышал, как тут и там звучало его имя, но только в разговоре — его никто так и не окликнул.

— Я разрешил им остаться, — послышался из толпы чей-то голос, — потому что девочку покусали крысы, да так много и по всему телу.

А следом еще:

— Я так вам скажу, так вам скажу: он умолял меня. И я могу сказать вам ровно то же самое, что сказал ему.

А потом кто-то произнес:

— Мы увидели очередь, потому подошли и встали.

А потом еще:

— Тут написано: «Продолжение на Б, двадцать четыре», но Б, двадцать четыре вы не принесли, верно?

Между столбами с фонарями узкой улицы натянули транспаранты с красными буквами, прославлявшими Богородицу. Успение, а он совсем забыл. Скоро придет время праздника, и сколько людей останутся без корочки хлеба из-за того, что Рокко не открыл свою лавку.

Зазвонил церковный колокол.

И кто-то сказал:

— У нее теперь солнечные очки, и она снимает их в таком порыве, словно ждет, что я испугаюсь.

— Ага! — воскликнул кто-то рядом. — Вот же он!

И тут его заметила Тестаквадра, местная умалишенная. Свои рыжие волосы она стригла почти налысо. Тестаквадра наставила палец на Рокко с таким видом, словно он был преступником, а за ней и все остальные начали поворачиваться в его сторону. Рокко внезапно оказался в перекрестье множества взглядов.

Было восемь часов утра.

Тестаквадра подошла к нему, пробормотала что-то, неразборчивое в людском гомоне, и двинулась дальше по улице.

— Магазин сегодня закрыт, — сказал он мягко, как мог, пышногрудой девице с глазами, возможно, приятными, он не рассмотрел — она предпочла отвести взгляд, сделать вид, что вовсе не к ней обращается. Она была одной из тех покорных, ожидавших хозяина, который обратится ко всем сразу и объяснит, почему же сегодня вдруг не будет хлеба. Но зря она возлагала на Рокко эти ожидания, он был не из таких. Существуют люди, чье величие духа только Господу увидеть под силу; он не мог говорить громко со всеми сразу. Он был простым христианином. Развернувшись, прошел под брезентовый навес у входа в лавку и сел на ступеньки.

Все внимательно наблюдали за ним, изредка переговариваясь, и отводили взгляды, видя, что он отворачивается, не желая вступить в беседу.

Недалеко от него в толпе стояла светловолосая девушка — она чуть косила, и зубки у нее были острые. Звали ее Кьяра. Он поманил ее пальцем — и она смело шагнула к нему.

Он с двух сторон накрыл ее маленькую ладошку своими, словно сделав сэндвич, и произнес:

— Рокко не будет работать. Он берет отпуск. На неделю, возможно. Скажи им. Потом все само собой наладится.

Он взял чашку и блюдце с бетонной ступеньки, отхлебнул и махнул рукой на толпу, чтобы Кьяра пошла и передала им его слова.

Вместо этого девочка опустилась на крыльцо рядом с ним. Погладила Рокко по руке, окинула толпу решительным и полным гнева взглядом.

Сквозь толпу наконец протиснулся Д'Агостино, и девушка подпрыгнула, встала ему навстречу, скрестив руки на груди, будто запрещаая приближаться, и шелкнула для убедительности каблуками.

Обойдя ее, Д'Агостино согнулся пополам и поцеловал воздух с обеих сторон головы Рокко, у самых ушей.

— Ты страдаешь, да поможет тебе Господь, — сказал он.

— Может, ты им что-то объяснишь за меня, и тогда они разойдутся? — сказал Рокко.

— Вчера вечером я был у твоего дома, я стучал, но никто не открыл, — продолжал Д'Агостино. — На тебя совсем не похоже. Но теперь все ясно. Ты, вероятно, это уже видел. — Он развернул газету, что держал в руке.

Рокко взял газету, но одну руку все же оставил на плече Кьяры, которая уже заняла прежнее место рядом на ступеньке, чашка с остатками кофе нетвердо стояла на коленях.

Заголовок на первой странице гласил: «Солдат лишился на войне ног и рук, но все же возвращается домой, собираясь отдохнуть». Д'Агостино окинул взглядом страницу и перевернул вверх тормашками. Под местом сгиба, рядом с рекламой фирмы по чистке ковров, располагалась статья колонкой в пять дюймов, сообщавшая о большой реконструкции того, что осталось от Элефант-Парка.

На Кьяре были чулки бледно-голубого цвета, расширенные крошечными рыбками. Рокко задался вопросом: что же он такого сделал, что Бог послал ему ее в такую минуту?

Холодящая душу уверенность вызвала нервный смех, вырвавшийся из глубины нутра Рокко. Он вновь перевернул газету.

— Ты неверно понял, Джозеф. Вы все неверно поняли. Это не о Миммо. Произошла ошибка на самом верху.

Рокко плутовски улыбнулся:

— Ошибка при *опознании*.

Д'Агостино спросил:

— Что это значит? Что произошло?

Кончик его носа при этом дергался.

Это значило, что Рокко и его жена должны явиться в государственное учреждение, посмотреть на тело и объяснить всем, что это не их Миммо.

Издали послышался звук приближающегося цементовоза, и толпа, занимавшая уже всю улицу по ширине, сдвинулась к тротуару. В ней распространялось его видение ситуации, переданное теперь Д'Агостино. Громкость шума снизилась. Ощущение было такое, будто у него распухли гайморовы пазухи и влияли теперь на работу мозга.

Д'Агостино повернулся и произнес:

— И теперь тебе придется терпеть неудобства, остановить работу пекарни, ехать в Нью-Джерси, а потом еще обратно, и все потому, что кто-то там напутал с записями, так?

— Именно так, — кивнул Рокко.

Кьяра посмотрела на него, сжав губы так сильно, что от них отлила кровь. Страдальческий изгиб побелевшей губы ее кричал: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего».

Опираясь на все имевшееся в душе милосердие и терпение, он заговорил тихо, почти шепотом:

— Пойми и меня, дорогая, они суют свои грязные пальцы мне в рот и проверяют зубы.

Д'Агостино перекатился с мыска на пятку, вышел из тени навеса, возвел очи к небу, затем вновь повернулся к Рокко.

— Должны они хотя бы, — заговорил он, — прочитать, что написано на жетонах, ведь всем известно, что их никогда не снимают.

В определенном смысле Рокко были понятны выводы властей. По словам являвшихся вчера в его дом джентльменов, у найденного парня был жетон с именем Миммо Лаграсса, к тому же личный номер совпадал с тем, который Рокко записал на бумажку и хранил как раз на этот случай в бумажнике с того самого дня, как его мальчик записался на военную службу. Да и рост совпал.

Он повернулся к девушке и спросил:

— Так пойдет?

— Мне бы больше хотелось пончиков с яблоками, — умоляюще произнесла она.

Рокко взглянул на газету. Переполняемый яростью и стыдом. И еще печалью оттого, что Кьяра увидела его таким.

— Итак, джентльмены из морской пехоты, — продолжал Д'Агостино, — решив окончательно разобраться в ситуации, сказали Рокко: «Нам нужно, чтобы вы пришли на опознание»? Как будто они сами не знают, кто это, и только благодаря статье в газете стало понятно?

«Зачем они спрашивают меня про статью в газете? — подумал Рокко. — Не я писал ее».

Д'Агостино посмотрел на небо, потом опять на крыльцо и нахмурился. Трагедия заключалась в том, что джентльмены из корпуса морской пехоты действительно не говорили Рокко ничего вроде «*точно установлено*» или «*с уверенностью заявляем*».

— Ну, может быть, хотя бы рогалик с мармеладом? — спросила девочка.

— Сказать можно все, например: «С уверенностью заявляю, что луна сделана из сыра», — заговорил Рокко. — А если луна не сделана из сыра, но и вы ничего с уверенностью не заявляли, потому что как можно

с уверенностью заявлять что-то, что может оказаться неправильным? И все в том же роде.

Кьяра ускакала от него вприпрыжку, как это умеют делать только маленькие дети, возможно, потому, что не хотела присутствовать при его падении в бездну лжи.

Где-то тренькал звонок велосипеда.

Или он перепутал со звонком на прилавке и кто-то торопил продавца?

Версия, предъявленная Д'Агостино, безусловно, намеренно измененная, проникшая в ум, не понравилась. Возможно, ему даже не поверили.

Д'Агостино извинился и двинулся в направлении трелей звонка. Остальные собравшиеся последовали за ним. Вскоре вредоносная толпа рассеялась. Несколько человек пожелали мужества, также не падать духом и только потом удалились. Наверное, им было стыдно, что они ошибались.

Вскоре все уже смотрели в противоположную от него сторону, все, кроме одного, разошлись по переулкам, уходящим в стороны от Одиннадцатой авеню, и по торговым точкам. Лишь одна пожилая женщина пробиралась к нему против течения толпы. На ней был типичный наряд вдовы — черные туфли, черное платье, черная сумочка. Она подошла совсем близко.

И сказала:

— Мистер Лаграсса, пожалуйста, приходите в мой дом к часу на ланч.

В руке она держала бельевую прищепку, которая внезапно щелкнула.

— Но я должен ехать.

— Они сказали мне, *куда* вы должны ехать. — Она подняла руку. Звали ее миссис Марини.

— Мне надо масло поменять.

— Меняйте свое масло. И тщательно помойте руки. Идите к моему крыльцу, поднимитесь по ступеням и постучите в дверь. Ну и так далее.



[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

